

Поэзия — картина мира автора.

И — картина мира Божия.

Огромное, безбрежное полотно.

В нём и воздух, и свет, в нём и библейский («*тьма безвидна и пуста*») мрак войны, в нём медленно перемещаются родные фигуры, плывут родные лица — чтобы мы могли их в тумане времён увидеть, разглядеть, запомнить.

Поплакать над ними.

Постоять на панихиде в их память в родном храме.

Три духовные материи — рабочие материалы поэта Александра Орлова, коими он пишет это полотно: *время* (и народ, что ушёл во время и там теперь живёт), живые близкие *люди* (с наиважнейшими, точными подробностями их живого бытия), и ещё — *вера*: она одна на всех, но многолика, как в деревенской церкви родимый иконостас — тут и наши незабвенные святые, и тихие службы, и праздники, и похороны, и война, и мир, и снова возвращение к святости, но уже к незаметной, часто невидимой святости живых («дорогих родных», как раньше в письмах писали...), что завтра станут настоящими святыми — в приделе нашей памяти, на гигантской конхе великой страны, Родины нашей.

И все три эти бесценные материи поэт сопрягает — когда деликатно, когда прямо и не боясь, когда призрачно, далёким воспоминаньем или детским сном.

Читаю Александра Орлова, и ясно видно: напрасны споры и скрещения копий, что же чудеснее и правдивее всего — традиция или новаторство. Скажу прямо и смело: поэзия — это не записанный в столбик текст той или иной степени искренности. Поэзия или есть, или нет её. И бывает так, что она есть в сложнейших (вербально, семантически!), вполне авангардных стихах, и вот она — рядом, в стихе прозрачном, как весенний ручей, простом и непритязательном, созданном в традиционных ритмах и знакомых любому русскому человеку интонациях; и её нет — в невероятных изысках того же авангарда и в унылых банальностях и расхожих штампах «простой» лексики и привычных «гладких» катренов. Загадка, тайна

поэзии — в ней самой. И мало виртуозно владеть словом. Сейчас (почти) все грамотные, у всех работает фантазия, а творческий порыв ещё никто не отменял. Но часто в таких красиво сложенных, словесно богатых стихах нет того, что есть у редких поэтов, — вот этого самого драгоценного сочетания, сопряжения трёх этих, не побоюсь высокого слова, великих вещей: времени, любви, веры.

Книга стихотворений Александра Орлова «Епифань» — воистину *книга*; слово-то само «книга» — священное; в древних книгах, будь то накрученный на остов пергаментный свиток или увесистый, облачённый в выделанную телячью кожу фолиант с «Цветной Триодью» или «Четьями-Минеями», лежащий на монастырском аналое, таилась мудрость земли; а нынче таится либо нечто настоящее, подлинное и насущное, либо притворное, поддельное. Люди, занимающиеся искусством, не всегда и не все искренни. Многие превосходно научились подделываться под искусство, хитро подменяя чувство лживым пафосом, а живую любовь — её пластмассовым муляжом. Как отличить подлинник от подделки?

Александр Орлов великолепно доказывает и показывает нам это.

...Да ничего он не доказывает и не показывает. К счастью читателя и объёмного, подкупольного пространства русской культуры, он просто *живёт* — в стихе он дышит, стихом молится, стихом вспоминает, стихом гневается и прощает, стихом заглядывает в будущее, скрытое за тяжёлой завесой всепожирающего времени.

И удивительно: стиховая музыка Александра Орлова — это откровенная победа над временем. Его личная, тайная победа, которая через бытие его авторской жизни в книге становится всечеловеческой, людской, — Божией.

Не улыбайтесь, прошу, и не возмущайтесь постоянным поминанием веры в Бога в моих раздумьях: я сейчас меньше всего обращена к конфессиональным вопросам и далека от пафосных упований — ибо слишком много их видела-слышала-читала на протяжении того времени, когда к нам вернулась

разрешение на воскрешение—храмов, священства, молитв, иконописи, нашей святой огненной веры.

Есть художник самодостаточный, он превосходитно обходится без Бога. И он правда считает, что всё, что он делает,—это продукция его собственной, личной и бесспорной воли. И есть художник, прекрасно понимающий: если он нарушит, порвёт ту золотую незримую нить, что связывает его со всем сонмом его предков, он останется гол как сокол, один на пустыре, и для него пустозвонными криками станут история, кровь, память, земля.

Земля и родные люди на ней—да ведь это и есть культура.

У нас была крестьянская—народная—культура.

Сквозь ужасы всей нищеты она прорастала, и корни её уходили в народную память, в древнейшее время счастья рода и время героев.

У нас была церковная культура. Счастье воцерковлённости.

И это тоже было народное счастье.

У нас была культура, несомая благородным дворянством, военными чинами—забудьте про солдафонов и помните Кутузова, Багратиона, Нахимова, Ушакова и иже с ними.

У нас случилась революция—так, с кровью, менялось и перекраивалось время.

И наш народ погибал, перекраивая его, и всё равно не позволил себя переkreпить.

Память! Лейтмотив поэзии Александра Орлова.

Память пламенная; звёздная; неопалимая; невытравимая.

От московской незваной гордыни
Становлюсь я нередко свиреп
И спешу на тот берег Смядныи,
Где заколот был юноша Глеб,

Где молитве, как старенькой няне,
Каждый пришлый подвластен вовек,
Где защиту находят смоляне
В теплоте стратотерпца опек,

Где в года мировых пятилеток,
Неподвластный безбожным властям,
Проезжал мой расстрелянный предок
По дорогам из кочек и ям,

Где округа извечно смолиста,
Где все жили во имя труда,
Где встречали с войны гармониста
Божий крест и победы звезда.

Вот это: «*Божий крест и победы звезда*»,—разве это не есть наш портрет, портрет русского народа прошедшего века? И так просто это сказано. Гордо и точно. И так скорбно. И так свято.

Здесь есть пафос. Но не дешёвый, не бутафорский, а родной—единственный.

Стреческого «пафос» переводится как «страсть», «страдание».

Это ведь Страсти Христовы.

Так горда и высока—и в музыке, и в сакральности древних слов—церковная служба.

Почему меня не покидает странное ощущение при чтении стихов Александра Орлова—будто я стою в забытой-брошенной деревенской церковке, на обрыве над широкой холодной Волгой, на ракитовом бугре, на сельской панихиде, от которой слёзы набегают на глаза, а поминальная служба эта идёт в память всех русских людей, что на самом деле не умерли, а навсегда живы—в шелесте трав, в шёпоте летних листьев, в шуме серебряного ливня, в духмяном запахе хлеба?

Почему я так ясно вижу просвеченную насквозь святившимся сердцем поэта водную, воздушную толщу канувшего времени?

Мне продали щекастые смолянки,
Стоящие под проливным дождём,
Ржаные, ещё тёплые буханки—
И хмурый вечер показался днём.
<...>

Я видел, как работают все живо—
Поют, смеются, рассуждают вслух,
В их душах—поспевающая нива,
Прародина плетёнок и краух.

Они ещё доленинской закваски,
И прячут их помазанные лбы
Пословицы, поверья, песни, сказки,
Коленопреклонённые мольбы.

Война постоянно и больно, будто в живой колокол бьёт, ударяет по внутреннему миру поэта, будоражит его, заставляет смотреть ей, страшной, прямо в чёрное лицо. «Висельник», «Барин», «Помню, учили меня быть надёжным и смелым...»—всё это даже не стихи, хотя они и укладываются в рифму, ритмику и традицию: это личные, потаённые песни поэта о войне и её страданиях,—впрочем, такими и должны быть выстраданные человеческие слова о невероятной боли войны. О её героях, прожигающих нам именами память.

...Снова под утро тревожат скупые просветы,
Наши свиданья с родней обречённо редки.
Грозным Смоленском в стальное подымье одеты
Мельница, сад и наш дом в изголовье реки.

Орлов помнит всё.

Не только смерти войны.

Но и смерти на Родине—русским людям—от рук русских людей.

Трагедии революции, Гражданской войны, раскулачивания, расстрелов, тюрем и лагерей не покидают поэта: да это вечные, роковые спутники русского человека. Наша общая память насквозь

прожжена ими. Это наши молчаливые ангелы с наших расстрелянных фресок, что скоро уже век плачут кровавыми слезами. Мироточат слезами настоящими — при свете солнца и в ночи.

Сам себе приказал: зубы стисни,
Пусть весь мир на мгновенье замрёт,
Вздрогнет смерть от сияющей жизни,
Что о всех знает всё наперёд.

<...>

Будет воздух в дороге псалтырен,
Будет ветер шептать, словно чтец,
Будет петь поминальную сириин,
Вознося горечь русских сердец.

Самоцветами просвечивают здесь знаковые церковные слова. Совсем рядом раскрытая на столе, под тусклой лампой, дедова псалтырь... и рядом сказочная, ангельская птица Сириин, что песнею своей обращает наше неизбывное горе в заоблачную память небесной радости.

Кто только не писал о близости милой деревенской печи, о пляшущем печном огне! Но такого видения ещё не было ни у кого из владеющих словом:

...И пахло лесом, дымом, полем,
Рожденьем, жизнью, нищетой,
Коротким счастьем, долгим горем,
Второй и Первой мировой.

На языке горчила жжёнка,
Ручьём катился пот по лбу,
И видел я в себе ребёнка,
Чьи сны уносятся в трубу.

Я догадалась, какую миссию выполняет поэт: словами, стихом он, как суровую нитью, сшивает холстину времён, их ветхое, а на деле незыблемо-крепкое — не разорвать! — посконьё, и это почти мастеровое действие преобразуется — становится словесным действием, на глазах переходя, перетекая в музыку, родную, близкую музыке народной.

Люди, люди, люди... Народ... Наш народ... «Беспальный», «Бедник», «Каноница», «Староста»; а вот рядом с живыми людьми и наши дүхи, наши живые, потусторонние или на миг (чтобы мы увидели их!..) посюсторонние существа — «Полудница», «Хозяин вод», «Житник», «Жихарь»: без них славянин не живёт, они то помогают, то наказуют, и вступить с ними в разговор — всё равно что нырнуть в неизвестное пространство-время, что без границ и без дна, и вот оно, сопряжение мира дольного и мира чудного, иного:

...Что тебе надобно, потусторонник?
Брось меня здесь, посреди луговин.
Вижу крапиву, фиалку и донник,
Горькую мглу и разломанный тын.

Вижу колосьев забытых останки,
Тень полевого в последних снопах.
Свет огнеликий мгновенно зачах.
Я — словно ветер на хлебной деланке.

Я и не я пробуждаюсь впотьмах.

Наше общее вечное упование: ах, если бы не смерть... приди попозже... а сможешь, так вообще не приди... а может, я буду вечен, бессмертен... время, ну что тебе стоит?.. Наш народ уходил на войну. Наш народ жизни отдавал — за жизнь.

Наши поэты пели песни свои, не помышляя о том, бессмертны они или смертны: они просто — пели. Дышали. Жили. Потому что так им Богом суждено было. Наши иереи свершали во храме требы и каждодневно молились за всех нас.

За воинство наше, за царей наших, за каждого простого живого человека нашего.

А смерть? Где она?

*«Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа?
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мёртв во гробе!»*

Бессмертно «Слово огласительное на Пасху» святого Иоанна Златоуста.

А мы, художники, — кто мы у Бога?

Приемлем мы смерть или отвергаем?

Молимся мы жизни или проклинаям её, часто страшную, страдальную?

Поэт Александр Орлов тоже смотрит в то зеркало, где отражены — рядом, близко — жизнь и смерть.

И стихами своими он даёт нам утешение.

Обречённости нет, если есть любовь.

...И молний огнедышащий моток
Вдруг сматывает кто-то тихо-тихо,
И всем понятно, кто кого сберёт,
И тонет смерть, безумная пловчиха...

Почему же всё-таки «Епифань»? Павел Епифанович Орлов — прадед поэта. Ему посвящено стихотворение «Барин». А давайте вспомним, что такое «епифания», переведём это слово с греческого.

Оно означает «явление».

Ещё — «раскрытие», «обнаружение».

То, что явлено — и, может быть, чудом.

И может быть — Чудом.

Теофанией. Богоявлением.

Крещенские морозы. Крещение Господне. Водосвятие.

И наш, русский Христос идёт к нам по снегам.

Нет смерти, улыбаясь, шепчет Он нам.

Книга стихотворений Александра Орлова «Епифань» — о жизни и смерти.

О нас с вами.

И да, отныне и навсегда — о времени, народе и вере.